# НУЛЕВОЙ СЛОЙ

Игорь Брусникин



Игорь Брусникин

# Нулевой слой

«Автор»
2026

**Брусникин И.**

Нулевой слой / И. Брусникин — «Автор», 2026

Леон Варга — архитектор, который умеет читать дома лучше, чем людей. Его город Мистхольм устроен правильно: трамвай приходит по расписанию, соседка здоровается в девять утра, булочник печёт косички с маком. Леон знает каждый скрип своей лестницы. Он уверен, что знает, где живёт.Но однажды утром третья ступенька молчит. Соседка смотрит сквозь него. Булочник не узнаёт его в лицо. Мать называет чужим именем. Всё на месте — и ничто не то.Мистхольм оказывается не одним городом, а многими: слоями одного и того же места, где одни и те же люди живут чуть теплее, чуть холоднее, чуть иначе — и не подозревают о соседях сквозь стену. Где-то в этих зазорах кто-то вёл счёт задолго до Леона. И счёт этот идёт к нулю.Роман о том, что расстояние между людьми — не пустота, а место, где живёт свет. И о том, что понять это можно только спустившись достаточно глубоко, чтобы уже не быть уверенным, куда ведёт лестница — вниз или обратно домой.

© Брусникин И., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Тихий город 5
Глава 2. Свои люди 12
Глава 3. Вечеринка 20
Глава 4. Крик 28
Конец ознакомительного фрагмента. 35

# Игорь Брусникин
# Нулевой слой

## Глава 1. Тихий город

Будильник звенел в 7:15. Леон Варга брал его в руку, не глядя, — рука знала дорогу сама. Он никогда не откладывал звон — не из дисциплины даже: просто первый час дня принадлежал ему одному, и спать в него было бы жалко.

Сначала кофе, потом вода в лицо, потом окно — в таком порядке. Кофе без сахара, мелкого помола, из медной турки, купленной на блошином рынке лет шесть назад. Ручку у неё отклеивали и приклеивали трижды, и Леон не собирался её менять: турка была его, а у вещей есть право оставаться собой. Пока она шипела, он стоял на кухне и смотрел в стену — не от тяжёлых мыслей. Просто утро требовало тишины, и он давал ей эту тишину целиком. Однажды Эрик сказал, что так живут только старики. «Старики и те, кто умеет слушать», — ответил тогда Леон, и Эрик хмыкнул, не поняв, но и не споря.

Окно в спальне выходило на восток, на крыши Ремесленной улицы. Мистхольм в семь тридцать был весь из красного кирпича и косого света: старые дома стояли плечом к плечу, нависая над узкими переулками, черепица темнела от утренней влаги, и над всем этим поднималось солнце — сначала ржаво-розовое, потом светлеющее, потом обыкновенное, дневное. Где-то на задворках стучал молоток. Где-то ругался кот. Город просыпался нехотя, как человек, которому рано на работу, но который уже не уснёт.

Леон пил кофе у окна, обхватив кружку двумя ладонями. Из-за крыш виднелась лента Мертена — тёмная ещё, с редкими проблесками. С южного берега доносилось, как грузчик закрывает фургон: три хлопка железом, всегда три. Река делила город пополам, и делила не только географически: южный берег жил громче и позже, там были портовые склады и мастерские; северный, где жил Леон, просыпался рано и засыпал рано, и этим гордился, хотя вслух никто этого не говорил — просто по тону было слышно.

Внизу, на углу, хлопнула ставня булочной Альтмана. Старик выносил свежий хлеб на витрину каждое утро примерно в это время, и Леон, глядя в окно, машинально подумал: хлеб вынесли, день пошёл. Не потому, что следил за расписанием, — потому что так складывалась утренняя картина мира, и в ней всё держалось на своём месте. Как в чертеже: не потому, что боишься ошибки, а потому, что так ровнее и лучше.

Он вымылся, оделся без раздумий — серые брюки, тёмная рубашка, куртка с воротником — и вышел на лестницу. Дом, в котором жил Леон, был старый, с чёрной парадной лестницей, пахнущей воском и сырым камнем, и с почтовыми ящиками у входа — латунными, стёртыми до золотистого блеска на цифрах. На его ящике цифра была почти не видна, но почтальон никогда не ошибался, и это тоже была часть порядка: город знал своих, даже когда номера стёрлись.

Госпожа Хальперн, соседка снизу, уже шаркала за своей дверью: слышно было, как она двигает табуретку, как льётся вода, как она что-то бормочет — то ли себе, то ли кошке, то ли улице. Кошки Леон никогда не видел, но слышал её часто. Соседи снизу существуют не как отдельные люди, а как звуковая дорожка дома — и это, если подумать, очень честная форма знакомства: по звуку не притворишься.

— Хорошего дня, госпожа Хальперн! — крикнул он, накидывая куртку.

— И вам, молодой человек! — донеслось снизу, хотя она и не могла его видеть. У Хальперн был дар отвечать на несказанное.

Квартал до бюро он проходил пешком — минут восемнадцать, если не считать короткую остановку у моста. Маршрут был один и тот же не из педантизма, а потому что других и не хотелось: вниз по Ремесленной, мимо булочной — там уже пахло корицей, и Альтман выкладывал на витрину косички с маком — через двор с побитым фонтаном, где всегда пахло мокрым камнем.

Во дворе этом жил свой порядок. К восьми утра дед с тележкой выносил к подъезду банки для сбора стекла и здоровался со всеми, даже с теми, кто не здоровался. Дама в зелёном пальто поливала герань на подоконнике третьего этажа — из окна, через пропасть, не проливая ни капли. Мальчишка лет десяти сидел на бортике фонтана и делал вид, что никуда не торопится, — и это ему удавалось ровно до второго звонка из квартиры. Леон проходил через этот двор каждый день и каждое утро думал одно и то же: хороший двор. Дворы, как и дома, бывают говорящие и немые; этот был немой в лучшем смысле — он просто стоял и был.

К половине девятого над городом вставало солнце окончательно, и свет менял тактику: вместо косых розовых полос он заливал улицы целиком, и кирпич начинал отдавать тепло, накопленное за лето. В такую пору Мистхольм был похож на старый сундук, который открыли на солнце: пахло пылью, деревом и корицей из булочной, и всё это — сразу, дружно, как если бы город дышал одним дыханием.

Потом — направо, в Ковочный переулок, где дома сходились так тесно, что кроны деревьев смыкались над головой и в полдень стояла узкая тень, как в колодце. Леон любил этот переулок за честность: здесь не было витрин, только двери, таблички, скамейки и старый почтовый ящик, покосившийся лет на двадцать, — его никто не чинил, потому что все привыкли, и он держался, как держится многое в Мистхольме: на привычке. Потом переулок вырывался на набережную — и раскрывался весь сразу: река, мост Старого Штейна, южный берег с его низкими крышами и дымом из труб.

На набережной Леон замедлялся — не останавливался, замедлялся. По мосту шла утренняя процессия: люди с портфелями, девчонка на велосипеде, обгонявшая всех и звонившая в звонок даже там, где не было никого, — просто из принципа. Старьёвщик Уве толкал свою тележку и здоровался с каждым вторым, причём вторые в большинстве не оборачивались, и его это не расстраивало, потому что он здоровался уже с той стороной улицы. И старик с фотоаппаратом у перил — каждое утро, в любую погоду, он снимал один и тот же вид и никому не махал рукой: место, которому снимаешь, не замечаешь мимоходом. В начале девятого через мост, цокая, проходил трамвай номер три, и его гул сливался с гулом воды под арками. Всё это было так привычно, что Леон почти не замечал — а заметил бы сразу, если бы что-то сдвинулось.

Он ещё не знал, что скоро начнёт замечать всё.

В бюро «Хельм и Партнёры» занимали два верхних этажа старого дома на площади Корнмаркт — дом с аркой, датированной, по табличке, трёхсотым годом какой-то не самой важной эпохи. Внизу держали скобяную лавку, от которой наверх поднимался запах железа и опилок — Леон привык так, что перестал его чувствовать, и чувствовал только по возвращении из отпуска. Отпусков было два за восемь лет.

Бюро было небольшое: Хельм, Леон, Нора и старик Грубе, который заведовал картотекой и архивом чертежей — библиотекой всего, что город когда-либо построил и что попало им в руки. Грубе разговаривал с архивом чаще, чем с людьми, но по любому вопросу — «был ли у дома на Мертенской, 14, карниз в 1902?» — выдавал ответ за семь минут и никогда не ошибался. Люди считали это чудом памяти. Леон подозревал, что просто порядком: у всего должно быть своё место, и у бумаг тоже.

Сам Хельм — сухой, ровный, не старый, но уже седеющий мужчина с пальцами, вечно в карандашной пыли, — основал бюро двадцать лет назад вместе с партнёром, которого в бюро никогда не называли по имени, только «Партнёр». Партнёр умер давно, в первый же год сов-

местной работы, и Хельм оставил его в названии — как оставляют свет в окне для того, кто должен вернуться. Никто не спрашивал его об этом. Думали, что все и так знали.

Работы в бюро было немного и была она хорошая: реставрация, пристройки к старым домам, редкие конкурсы. Хельм верил в руку больше, чем в машину.

— Программа посчитает, — говорил он. — А вот почувствовать, где окно должно быть, программа не может. Окно — это про то, куда человек смотрит, когда моет посуду.

Леон чертил от руки. Не из позы — по-настоящему: карандаш с мягким грифелем, рейсшина, ластик, стёртый в серую крошку, и тот особый ход линии, когда она идёт не сразу верно, а ищет, дрожит, находит и закрепляется. В компьютере линия получается сразу. В руке — честнее.

Сейчас они с Норой работали над пристройкой к дому нотариуса Брема — старому кирпичному особняку на северной стороне, которому заказчик хотел добавить оранжерею и не хотел ничего ломать. Задача была точь-в-точь леоновская: прикоснуться к старому так, чтобы старый не заметил.

Утро прошло как утро. В девять Нора Келль, не стучась, вошла в его кабинет, поставила чашку чая на край чертёжного стола и села напротив — с папкой и с готовым решением, как всегда.

— Смотри, — сказала она. — Если несущую стену оставляем, то свет в восточном зале падает до четырёх. Если переносим — до половины пятого, но тогда заказчик теряет кладку восемнадцатого века. Я считаю, свет важнее.

— Кладку тоже можно спасти, — сказал Леон.

— Как?

— Если сделать проём не в стене, а в её срезе. Разобрать по кирпичу и перенести.

— Перенести кладку.

— По кирпичу. Пронумеровать и перенести.

— Ты предлагал это вчера кому-нибудь ещё? — спросила Нора.

— Нет.

— Зря. Мне надо было хоть одному человеку сказать, что идея хорошая, чтобы я смогла согласиться не сразу и с достоинством.

Она посмотрела на него долго. Потом взяла карандаш, нашла чистое место на его листе — она всегда находила чистое место там, где он был уверен, что его нет, — и нарисовала узел.

— Вот так? — спросила она.

— Почти так, — сказал Леон и поправил одну линию. Двумя движениями.

— Возмутительно, — сказала Нора без выражения. — Дайте мне час, я вам это возненавижу и признаю.

Ровно через сорок минут она вернулась с листом расчётов и положила его на стол.

— Признаю, — сказала она. — И возненавидела, как обещала.

— Держите себя в тонусе, — сказал Леон.

— Я всегда в тонусе. Это вы расслабляетесь.

Они работали вдвоём хорошо и почти без слов. С Норой легко было молчать — это редкое качество, и Леон его ценил выше разговоров. Вне бюро они общались мало: раз в пару месяцев обед, иногда выставка. Ни тому ни другому это не казалось недоделкой. У Норы был муж-инженер и сад за городом; у Леона — вечерние прогулки и чертежи, которые не заканчивались никогда.

В обед он выходил на площадь Корнмаркт и покупал у Тильды — женщины с тележкой — булочку с тмином и стакан чая. Тильда каждый день говорила одно и то же:

— Свежее, тёплое, бери, не жалей денег.

— Сколько? — спрашивал Леон каждый день.

— Три, — отвечала она каждый день. — И не спорь, молодой человек, ты тратишь больше на кофе, я знаю, я вижу.

Откуда она видела — на площади не было смысла выяснять. Тильда знала город так, как знают только те, кто много лет стоит на одном месте и смотрит: она знала, кто с кем поругался, у кого перекрывали крышу и кто из братьев Финке снова не разговаривает. Про Леона она знала только то, что он берёт булочку с тмином и не торгуется, — и этого было довольно.

За едой его и застал Эрик. Студия Эрика — он сам называл это «конторой» — помещалась в двух шагах от площади, в бывшей швейной мастерской с огромным окном на север, и Эрик непременно проходил мимо в обед, как непременно заходил, если видел Леона за столиком.

— Вальга, — сказал он, садясь без приглашения. — Как поживает самая предсказуемая спина Мистхольма?

— Хорошо, — сказал Леон. — Она встаёт в 7:15.

— Я в курсе. Я ставил будильник на 7:15 однажды, чтобы застать тебя в живом виде, — и ты уже был в турке. Кто встаёт в 7:15 добровольно?

— Люди, у которых после десяти начинаются дела.

— У меня после десяти начинаются дела, — сказал Эрик с набитым ртом. — Поэтому я сплю до девяти. Это называется тайм-менеджмент.

Эрик умел есть и разговаривать так, что половина еды уходила в воздух, но Леон давно перестал на это дуться: с Эриком вообще было трудно дуться, потому что Эрик принимал любую претензию как аплодисменты. Он был шумный, тёплый и расточительный — расточительный вниманием, словами, временем — и Леон, который экономил всё перечисленное, находил в этой расточительности что-то полезное, как находят в чужом саду яблоки. Без Эрика Леон не ходил бы на вечеринки. С Эриком он ходил. Между этими двумя фактами и располагалась их дружба — прочная, как та самая кладка, только на другом растворе: на смехе.

— Ты в субботу свободен вечером? — спросил Эрик.

— Почему спрашиваешь?

— Потому что я хочу тебя куда-то затащить.

— Куда-нибудь шумное?

— Куда-нибудь шумное, — признал Эрик с гордостью человека, у которого всё шумное. — Но подумай до завтра. Не спеши. Я даю тебе всю ночь.

Он ушёл так же стремительно, как пришёл, кивнув Тильде, даме в зелёном пальто и почтовому ящику в Ковочном переулке — он здоровался со всем, что не сопротивлялось. Леон смотрел ему вслед и думал, что, наверное, каждому спокойному человеку нужен рядом кто-то неспокойный: не для того, чтобы менять его жизнь, а для того, чтобы в ней иногда было слышно эхо.

После обеда он дорисовывал узел, потом Хельм позвал к себе, посмотрел на лист через очки, снятые на лоб, и сказал только: «Вот здесь — хорошо. Не трогайте». Это была высшая похвала в бюро.

В четыре позвонил заказчик, нотариус Брем, — не по делу, а потому что ему было одиноко и он любил разговаривать с людьми, которые знают про его дом больше, чем он сам. Леон двадцать минут слушал про то, что в сороковые годы, по слухам, у Брема в этом доме жил фотограф, и под лестницей, может быть, осталась его тёмная комната, и не хотите ли вы, молодой человек, глянуть, — и Леон сказал, что посмотрит, когда приедут на замеры, и положил трубку с ощущением, что пообещал немного больше, чем хотел. Это тоже был порядок дня: заказчики не заканчивались, как и чертежи.

В пятом часу Хельм поднял голову от своего листа и сказал:

— Съездите с Норой на Мертенскую. Ещё раз взгляните на срез стены. И на свет. Свет после четырёх — не тот свет, что утром. Мне нужны оба.

На Мертенскую шло двадцать минут пешком, и они шли молча — Нора читала по дороге замеры, Леон смотрел на дома. Особняк Брема стоял в глубине квартала, спиной к реке, старый, с зубчатым карнизом и въевшейся в кирпич тёплой рыжиной, какая бывает только у кирпича, который прожил больше века и уже не собирается меняться. Двор был чистый, сухой, с одной старой липой, которая держала над двором такую крону, что тень от неё была гуще тени от дома.

Нотариус Брем встретил их сам — низкий, аккуратный, в жилетке, с той особой вежливостью, которую вырабатывают у людей, обязанных хранить чужие тайны. Он проводил их в восточный зал, где всё ещё стояли кресла, накрытые простынями, и где свет через высокие окна ложился на пол косыми жёлтыми полосами.

— Вот, — сказал Брем и махнул рукой, как махают на то, что не исправить. — Свет. Он умирает в четыре.

Леон встал у окна и посмотрел, куда падает полоса. Потом прошёл вглубь зала, где свет уже заканчивался, и присел на корточки, поставив ладонь на пол.

— Здесь, — сказал он. — В четыре свет ещё достаёт сюда. Если оставить стену.

Нора сняла очки, протёрла их краем рукава, надела и посмотрела на полосы, как на чертёж.

— Значит, считаем заново, — сказала она и открыла папку.

Пока она считала, Леон попросил у Брема показать лестницу — ту самую, под которой, по слухам, оставалась тёмная комната фотографа. Брем повёл его с фонарём. Лестница была старая, деревянная, стёртая посередине до гладкости, и под ней — низкая дверь, крашенная когда-то в зелёное, теперь в цвете мокрого камня. Брем подёргал. Не открылось.

— Ключ где-то был, — сказал он. — Но, понимаете, я живу здесь сорок лет и ни разу не открывал. Страшновато как-то. Вдруг там чужая жизнь.

Леон положил ладонь на дверь — она была прохладная, прохладнее, чем должна быть дверь в комнате под лестницей. Из-за неё тянуло сквозняком, лёгким и ровным, как дыхание.

— Чужой жизни не бывает, — сказал Леон. — Бывают ключи, которые потеряли.

Брем посмотрел на него с неожиданной теплотой.

— Красиво сказано, — сказал он. — Вы это в проекте запишите.

Назад они шли с Норой при стихающем свете. Нора не говорила ничего до самого угла Мертенской, а потом сказала:

— Тёмная комната фотографа.

— Что?

— Ничего. Просто красиво: все эти годы свет входил в зал через окно, а выходил — под лестницей. Через бумагу.

Леон подумал, что Нора иногда говорит вещи, которые он потом находит в своих чертежах, не помня, откуда они там взялись.

К вечеру в бюро опустело. Грубе запер картотеку и ушёл, чуть слышно кинув на прощание: «До завтра» — не Леону, по-видимому, а архиву. Нора ушла в шесть. Хельм задерживался, как всегда, — у него горел свет в окне до девяти, и город, глядя на это окно с площади, скорее всего, считал, что в бюро идёт работа. Леон знал, что Хельм просто сидит с чаем и рисует для себя — дома, которых никогда не будет. У каждого архитектора есть такие дома.

Вечером Леон не спешил домой. Дорога вдоль Мертена была его личным ритуалом: вверх по северной набережной, мимо причалов, где спали на приколе две баржи, мимо старика по имени Томас — Леон знал имя, потому что Томас сам представился года четыре назад и с тех пор кормил голубей на одном и том же парапете, разговаривая с ними с достоинством государя перед подданными.

— Ну, — говорил ему Томас сегодня, увидев Леона. — Ходишь.

— Хожу, — сказал Леон.

— Правильно, — сказал Томас и насыпал голубям ещё.

На слове «правильно» он не дал никакой расшифровки, и расшифровка не требовалась. Город был устроен так, что большинство разговоров в нём уже были сказаны, и оставалось только подтверждать.

За мостом Старого Штейна, на середине набережной, Леон миновал старый кирпичный дом — грузовой склад когда-то, теперь пустой, с забитыми окнами первого этажа и чёрным проёмом складской двери, уходившим в глубину здания. Оттуда всегда тянуло сквозняком и старой пылью, и мальчишки Мистхольма рассказывали друг другу, что там внизу живёт кто-то, кто не любит гостей. Леон не мальчишка, но, проходя мимо, всегда чуть ускорял шаг — не от страха, скорее из вежливости: не лезть в чужой дом, даже если дом пустой.

У причалов вода перекатывала свет фонарей с борта на борт, и казалось, что баржи дышат. На одной, на носу, сидела пара — не разговаривала, просто сидела, свесив ноги, и от этого выглядела так, будто сидит там всегда и будет сидеть всегда. Леон шёл мимо и не смотрел на них долго: чужие минуты не полагается разглядывать.

Там, где набережная поворачивала, в воде стояли отражения — не отражения даже, а вторые окна, вниз головой, жёлтые, тихие. Иногда река чуть вздрагивала от ветра, и окна плыли, но не гасли: город над водой и город под водой существовали одновременно, и Леон, глядя на это, всегда думал, что второй город, наверное, живёт медленнее — там всё делается наоборот и вдвое дольше.

Солнце садилось за южными крышами, и наступал лучший час Мистхольма — час окон. Тёмный кирпич остывал, и в каждом окне загоралась своя маленькая жёлтая комната: кто-то ужинал, кто-то читал, кто-то ходил по кухне с чашкой, и силуэт его шёл по потолку. Леон шёл вдоль реки и смотрел в эти окна, как смотрят в огонь — без желания войти. Ему было хорошо в том, что у него есть: в своей квартире с окнами на восток, в своей работе с карандашом, в своих восемнадцати минутах до бюро. Он не был счастлив в том праздничном смысле, в каком это слово произносят на вечеринках. Он был устроен. Между ним и жизнью стояла хорошая, плотная кладка, и он был тем человеком, который умеет такую кладку класть.

Он приехал в Мистхольм восемь лет назад, сразу после университета, на два месяца — посмотреть, как тут делают реставрацию, потому что в его краях реставрацию делали плохо. Два месяца превратились в восемь лет, и Леон до сих пор не мог объяснить, почему. Наверное, дело было в том, что город сел ему в руки, как селится старый инструмент: не привыкнешь сразу, но потом поймёшь, что он был всегда. Родители остались далеко, на юге; он звонил им по воскресеньям, и это был телефонный разговор, который у них получался лучше очного: за двадцать минут они успевали сказать всё, что могли сказать за год. Скоро ли приедешь, сынок. Приеду, мама. Обязательно.

Дома Леон зажёг свет на кухне, разогрел остатки вчерашнего супа и поужинал у окна, глядя, как через двор напротив последовательно гаснут окна: сначала у соседа-часовщика, который ложился раньше всех и вставал позже всех, потом в квартире на четвёртом, где жила семья с детьми, — там свет мигал, потому что кто-то бегал по коридору, — потом дальнее окно, мансарда, где никто никогда не видел, кто живёт, но свет там горел по средам и субботам за полночь. Город гас не сразу, а по очереди, как расходится гость после долгого вечера: кто-то уходит раньше, кто-то задерживается, и всем понятно, кто именно задержится до конца.

Суп был простой — картофель, лук, немного тмина, — и Леон ел его без спешки, потому что еда тоже была частью дня, а не паузой в нём. Потом помыл посуду, вытер её и поставил на сушилку — чашка ручкой вправо, тарелка второй, — не из педантизма, а потому что так рука находила её утром в темноте, не спрашивая.

Книга про старые мосты лежала на подоконнике, заложенная тонкой линейкой. Он прочёл двадцать страниц — про арочные пролёты, про камень, который держит вес не потому, что

крепкий, а потому, что стоит правильно, — и закрыл книгу с чувством, похожим на благодарность. Прочее время в городе тоже стояло правильно. Пока — стояло.

Около десяти внизу, у Хальперн, загремел её вечерний час — радио, старые песни, ровно на полчаса, потом тишина. Леон улыбнулся, глядя в темноту: даже это было в расписании дня, не в его — в расписании дома. Дом жил своей жизнью, и Леон был в ней вписан, как окно в стену: не главное, но на своём месте.

В половине одиннадцатого, когда стало тихо совсем, Леон подошёл к окну ещё раз и посмотрел вниз: улица была пуста, фонарь на углу держал круг жёлтого света, в котором медленно кружилась пыль, и нигде — ни в одном окне, ни на одной крыше — не было ничего, что не было бы на своём месте.

Перед сном он подумал, как думал каждый вечер, словами, которые не были мыслью, а были скорее привычкой: всё на месте. Всё на месте.

И он уснул, не зная, что через несколько вечеров этот город — тот же самый, с теми же окнами, с тем же трамваем и тем же хлебом на витрине — перестанет быть его городом. Что кладка, которой он так гордился, уже дала невидимую трещину — тонкую, как волос, — и что трещина эта ждёт его в переулке за Старым Штейном, в старом кирпичном складе, мимо которого он проходил сто раз и не смотрел.

Город спал. Река несла свет фонарей на юг, медленно, как несёт всё в этом городе: неспешно, по раз и навсегда заведённому порядку.

# Глава 2. Свои люди

Вторник выдался таким, каким бывают вторники в Мистхольме в конце лета: светлым, ровным, без происшествий. Утром над крышами стояла высокая дымка, обещавшая к обеду тепло, и Леон, поднимаясь по лестнице бюро, слышал внизу, как Грубе уже двигал ящики картотеки, — тихое деревянное постукивание, с которого день в «Хельме и Партнёрах» начинался чаще, чем с любого звонка.

Нора пришла в девять — как всегда, ровно, с папкой и с чашкой, которую ставила на край его стола раньше, чем здоровалась.

— Пока ты пьёшь, я расскажу, — сказала она. — Я всю ночь считала свет, и у меня плохие новости: при переносе стены мы теряем сорок сантиметров на западном фасаде. Сорок сантиметров, Леон. С точки зрения света в четыре часа это целое окно.

— Это не целое окно. Это пол-окна.

— А пол-окна в октябре — это полквартиры, темнеющей до ужина. Заказчик поставит свечи и назовёт это атмосферой.

— Тогда переносим не стену, а проём.

— Проём нельзя. Несущая.

— Можно, если разгрузить её консолью. Смотри.

Он развернул к ней вчерашний лист, и они склонились над ним вдвоём — так, как склоняются над картой двое, которым идти вместе: один указывает, другой сверяет, и оба знают, что спорят не друг с другом, а с материалом. Нора нашла неточность на пятой минуте — не ошибку даже, зазор, который Леон знал и оставил нарочно, чтобы посмотреть, заметит ли она.

— Здесь у тебя зазор шире, чем нужно, — сказала она.

— Знаю.

— Знаешь? — Она посмотрела на него поверх очков. — И оставить мог, только если надеялся, что я не замечу. Это, между прочим, неуважение к моему вниманию.

— Это проверка твоего внимания. Ты прошла.

— Снимаю шляпу, — сказала Нора. — Шляпы нет, но снимаю.

Стена, свет, консоль, зазор. Они проговорили проект насквозь и разошлись по столам — работать, как умели: рядом и молча. Иногда по коридору проходил Хельм, останавливался, смотрел через плечо и уходил, ничего не сказав. Отсутствие замечания было у него высшей формой одобрения, и все в бюро научились это читать быстрее, чем он сам понял, что его читают.

К одиннадцати Грубе постучал. Стучал он особенным образом — два раза и пауза, как будто спрашивал разрешения у самой двери.

— Вы просили папку по Мертенской, 9, — сказал он, входя с картонной папкой, перевязанной бечёвкой. — Дом Брема. Нашёл.

— Так быстро?

— Папка лежит там, где лежит. Это не скорость, это порядок, — сказал Грубе с лёгким укором, будто Леон сомневался в чём-то само собой разумеющемся. — Но там есть интересное. Смотрите.

Он развернул лист, пожелтевший по краям, со штампом конторы сорокалетней давности: план первого этажа. И под лестницей — маленький прямоугольник, выведенный карандашом, с подписью, выцветшей, но разборчивой: «фотокомната».

— Значит, правда была комната, — сказал Леон.

— План старой конторы, — уточнил Грубе. — Наше бюро тогда ещё не существовало.

— А вход?

— Вот здесь, сбоку, не под маршем, а с торца. Сейчас там дверь другая: либо нотариус перестраивал, либо перестроили до него, — Грубе пожал плечами. — В сороковых там, говорят, жил фотограф. Снимал город. Много снимал.

— Откуда знаете?

— Оттуда, что его работы иногда всплывают на аукционах. Мистхольм сороковых: мост, набережная, площадь. Он снимал один и тот же вид много раз. Странное увлечение, — заметил Грубе. — Снимать один и тот же вид много раз. Либо очень любишь место, либо чего-то от него ждёшь.

Он ушёл, а Леон ещё долго сидел, глядя на маленький карандашный прямоугольник. Комната под лестницей, в которую за сорок лет никто не заходил. Он подумал, что это как чертёж, который нарисовали и забыли: где-то в мире существует точное описание места, а само место заперто и ждёт. Такие вещи его не пугали. Они его звали — тихо, как звенит посуда в шкафу, когда мимо проходит поезд.

«Снимал один и тот же вид много раз», — подумал он ещё, пока складывал папку. В этом не было странности, если честно подумать: любой, кто любит место, возвращается к нему снова и снова. Просто люди возвращаются ногами, а фотографы — объективом. И неизвестно ещё, кто возвращается надёжнее. Человек может забыть дорогу. Фотография — нет: она ходит всегда одной и той же дорогой, потому что дорога нарисована на ней раз и навсегда.

В обед он вышел на площадь Корнмаркт. День к полудню разобрался с дымкой, и площадь лежала на солнце — светлая, стёртая, с голубями, которые расступались перед тележкой Тильды с достоинством людей, отступающих, но не признающих этого. Тильда была на месте и держала полки с булочками так, как держат знамя.

— Свежее, тёплое, бери, не жалей денег, — сказала она вместо приветствия.

— Три, — сказал Леон.

— И не спорь, молодой человек, ты тратишь больше на кофе, я знаю, я вижу, — сказала она, заворачивая булочку. — Сегодня тмин. Вчера был тмин. Завтра будет тмин. Ты ещё жаловаться начнёшь.

— Я не жалуюсь.

— Вот, и я говорю: не жалуешься, — сказала Тильда, как будто это было обвинение.

Эрик, нарочно проходивший мимо — или не нарочно: его проходы мимо были неотличимы от случайных, — забрал у Леона вторую половину булочки без приглашения и, жуя, сказал:

— Тебя сегодня Тильда хвалила. Я слышал. Не жаловался. Это высшая награда в этом городе.

— Она тебя тоже хвалит?

— Меня она кормит бесплатно. Это выше похвалы, — сказал Эрик. — Ладно, до субботы. Готовься.

— К чему?

— Ко всему хорошему, — загадочно сказал Эрик и ушёл, поклонившись голубям на своём пути.

После обеда Хельм вызвал их с Норой к себе и положил на стол эскиз оранжереи — не тот, что видел заказчик, а новый, с другой логикой света.

— Вот, — сказал он. — Вход в сад делаем не сбоку, а через старую дверь погреба. Погреб пусть станет тамбуром. Дёшево и честно.

— Заказчик хотел стекло с юга, — осторожно сказала Нора.

— Заказчик хотел свет. А свет можно дать и с севера, если поднять потолок на тридцать сантиметров и забыть о мнении заказчика насчёт стекла, — Хельм снял очки и протёр их краем рукава. — Северный свет ровнее. Для растений и для людей, которые приходят к нотариусу, ровный свет полезнее южного. Южный — для влюблённых и для витрин.

Он сказал это так ровно, что невозможно было понять, шутит ли. С Хельмом это была вечная загадка: он шутил так же, как распоряжался, — без интонации и без возврата.

К вечеру Леон докончил узел консоли, и Нора, проходя мимо, положила рядом с его локтем лист расчётной сетки — молча, как кладут подписанный договор. Он посмотрел: цифры сходились. Он поставил в углу листа маленькую галочку — их старый знак, означавший «согласна и больше не спорю», — и Нора, не оборачиваясь, подняла вверх большой палец. Так заканчивались их лучшие рабочие дни: без единого лишнего слова и с галочкой в углу.

Вечером он шёл домой вдоль реки. Томас был на своём парапете, и голуби сегодня вели себя нагло: один сел старику на плечо, и Томас не прогонял, а держался так, будто так и было задумано.

— У тебя вид человека, который сегодня что-то решил, — сказал Томас, не поворачивая головы.

— Ничего я не решал.

— Значит, решишь. У тебя лицо решающего, — сказал Томас и насыпал голубям ещё. — Идёшь домой?

— Домой.

— Правильно.

Слово «правильно» было сегодня произнесено с чуть другим нажимом, но Леон не успел поймать, каким, — и уже не стал. Он шёл дальше вдоль набережной и думал о том, что в Мистхольме вообще мало кто говорит лишнего.

Мимо пустого склада за Старым Штейном он прошёл, как всегда, чуть ускоряя шаг, и на этот раз — сам не зная почему — обернулся. Чёрный проём складской двери глядел на него из глубины, как глядит колодец: не угрожая, но и не отводя взгляда. Между досками нижнего окна дрожал отсвет — то ли от фонаря с улицы, то ли что-то своё, — хотя ветер не шевелил даже листья у тротуара. Леон смотрел секунды три, потом пошёл дальше, отмахнувшись от этой мысли, как отмахиваются от мухи в начале вечера: ещё не пора. Мальчишкам про этот склад врут, что там внизу живёт кто-то, кто не любит гостей, — и Леон, взрослея, так и не решил, врут ли они. Склад стоял пустой уже столько лет, сколько он себя помнил в этом городе, и всё же пустота у него была какая-то служебная: как будто его кто-то использовал и не сказал об этом городским легендам.

Дома он съел на ужин то, что было: хлеб, сыр, помидоры, слишком солёные, — и поставил пустую тарелку на сушилку, чашкой ручкой вправо, как всегда. Книга про мосты подождала его на подоконнике, и он прочёл десять страниц и закрыл её, потому что глаза просили окна. За окном город гас по очереди: часовщик, семья с детьми, мансарда. Всё по расписанию, которого никто не составлял и которое от этого было надёжнее любого составленного.

Около десяти внизу загремело радио. Леон уснул под старые песни, уже не слушая их, — и это тоже было хорошо: уснуть под голос дома, как ребёнок под голос с кухни.

Утром в среду Леон, уже одетый и с портфелем, столкнулся на лестнице с госпожой Хальперн. Она поднималась навстречу с пирогом — не на тарелке, а просто на двух ладонях, покрытых полотенцем, — и пахло от неё яблоками, корицей и немного ванилью.

— Держите, — сказала она вместо доброго утра. — Это вам.

— Госпожа Хальперн, вы каждую среду...

— Каждую среду, — согласилась она, как будто это была лучшая из возможных характеристик. — Возьмите двумя руками, он горячий с одного бока. Я не понимаю, как это у меня выходит: печь горячая со всех сторон, а он горячий с одного.

Леон взял пирог двумя руками. Он был горячий с нижнего левого бока, и это было почему-то правильно, как и всё у Хальперн.

— Чем сегодня занимаетесь? — спросила она.

— Замеры на одном старом складе. Потом бумажная работа.

— Скучный день, — сказала Хальперн с удовольствием, с какой одобряют чужие скучные дни. — Скучные дни — лучшие. В них никто не умирает и ничего не рушится. Вы на Брема поглядите, кстати, — дом его странный. Не злой — просто всё в нём немного не с той стороны.

— Как это?

— Ну, вот и лестница у него вверх ведёт не туда, куда ведёт, — сказала Хальперн вполне серьёзно, и Леон не успел спросить, что это значит, потому что она уже прибавила: — Пирог в холодильник, не на стол. И вечером принесите мне соли, у меня пачка кончается, а идти лень.

— Принесу.

— Хороший мальчик, — сказала она и пошла вниз, шаркая, как шаркала всегда.

Леон постоял на лестнице с пирогом в руках и поймал себя на том, что улыбается. «Вверх ведёт не туда, куда ведёт» — что это было? Старики говорят такими словами нарочно, чтобы у молодых было занятие — разгадывать. Или не нарочно. Иногда самые важные вещи люди говорят между пирогом и солью, и никто не думает их слушать, потому что между пирогом и солью никто ничего важного не ждёт.

Замеры на старом складе провалились к одиннадцати: у землемера был сломан рейсфедер, у подрядчика — настроение, а у заказчика, как назло, утром был день рождения, и он угощал всех пирогом, от которого веяло удвоенной Хальперн. Нора предложила вернуться и считать свет по бумаге, и Леон согласился, потому что свет по бумаге считался хорошо, если бумага хорошая. Они вернулись в бюро и до вечера сидели над ватманом, и день, который не получился снаружи, получился внутри: линия за линией, цифра за цифрой, галочка в углу.

Вечером он принёс Хальперн соль. Она отворила на стук, взяла пачку, повертела её в руках, как проверяют, и сказала:

— Чаю, что ли, налейте. Раз уж принёс. У меня как раз самовар кипел — я его кипячу на всякий случай, хоть и не знаю, чей случай.

Квартира её была тёплая и тёмная, как шкаф изнутри: по стенам буфеты с посудой, которой пользовались по праздникам, на столе — клеёнка в клетку, на подоконнике — герань в трёх горшках, по количеству окон. И на пороге кухни сидела кошка. Серая, старая, с одним мутным глазом, — сидела так спокойно, будто знала Леона всю его жизнь.

— Грета, — сказала Хальперн. — Не бойтесь, она не боится. Парадоксальная кошка.

Леон налил чай, и они сели у окна. Радио ещё не включили — час его не пришёл.

— Муж мой, покойник, — сказала Хальперн, глядя в чашку, — тридцать лет на южном складе просидел, приёмкой. Всё считал: ящики, дни, людей. И говорил одну вещь, я её теперь иногда повторяю, а толку мало — повторяю людям, а они слушают и не слышат, потому что молодые не слышат, пока само не грянет. Он говорил: город как часы. Пока их никто не вскрывает — идут. Вскроешь — уже не идут так, как шли.

— И что, — сказал Леон, — их нельзя вскрывать?

— Можно. Но не надо, пока не знаешь, зачем, — сказала она и отпила. — Вы мне вот что скажите: вы сами-то знаете, зачем живёте? Не глобально зачем — а сегодня зачем?

Леон подумал. Это было не праздное любопытство — у Хальперн был способ задавать вопросы так, что за ними стояла ответственность за ответ.

— Сегодня я живу ради чайника у Брема в субботу, — сказал он. — И ради того, чтобы ваш пирог был в холодильнике, а не на столе.

— И ради того, чтобы в десять успеть на свою песню, — сказала Хальперн, кивнув на радиоприёмник, — на станцию, значит. Хорошо. Это честный ответ. Часы идут.

— А вы? — спросил он. — Вы зачем живёте — сегодня?

— Для меня? — Она подумала честно, не торопясь, как думают люди, которым есть что взвешивать. — Я сегодня живу для того, чтобы Грета дожила до ветеринара в четверг. И для того, чтобы кто-нибудь в этом доме раз в день сказал другому что-нибудь доброе. Обычно этим кем-то оказываюсь я. Работа не тяжёлая, зарплата маленькая, но зато всегда есть.

Она засмеялась — тихо, себе под нос, — и добавила, уже серьёзно:

— Не вздумайте понять меня неправильно, молодой человек. Я не о грустном. Я про то, что счастье — оно как соль. Мелкое, скучное, и без него всё пресно. Все ищут мёд, а надо бы соль проверять.

Леон вышел в начале одиннадцатого. Радио у Хальперн уже загремело — старые песни, полчаса, тишина, — и он поднимался по лестнице, под их несмолкающий, домашний гул, как поднимаются под дождём, который не касается, но слышен. Он обернулся. Дверь Хальперн была прикрыта, но не заперта — щель в палец, из которой сочился тёплый свет.

«Если увидите дверь, которая не там, где должна, — не обязательно её открывать. Но запомнить надо».

— Она этого не говорила, — сказал Леон вслух.

Он был уверен, что она этого не говорила. Он был готов поспорить на что угодно, что этих слов в её речи не было. И вместе с тем слова висели в воздухе лестничной клетки с такой очевидностью, что спорить было не с кем: они были здесь, и они были произнесены голосом Хальперн, тихим и неспешным, — просто он, должно быть, не расслышал. Ступенька скрипнула под ногой. Леон постоял ещё секунду и пошёл к себе.

Дома он долго смотрел на пирог в холодильнике. Потом закрыл дверцу — аккуратно, без стука, — и лёг. И уснул не сразу, впервые за долгое время.

Четверг прошёл как четверг: ветеринар у Греты прошёл хорошо — Хальперн вечером была довольна.

В пятницу позвонил Эрик — с самого утра, в девять ноль-ноль, что означало либо аварию, либо план.

— Вальга, — сказал Эрик без приветствия. — Ты помнишь, что завтра суббота?

— Помню.

— А что ты завтра делаешь?

— Замеры у Брема и чай у Брема.

— Это ты днём делаешь. А вечером у тебя ничего нет, я проверял. У тебя вечером вечеринка. У меня. В конторе. Музыканты будут — не настоящие, но живые, это важнее. И люди, которых ты не знаешь, но должен: я тебе представлю их как «хорошие люди», и тебе придётся верить мне на слово.

— Зачем мне люди, в веру которых я должен верить?

— Затем, что все хорошие люди сначала чужие, — сказал Эрик с непобедимой логикой. — Леон. Выходи из кладки. Один вечер. Если не понравится — вернёшься к своей турке, и я даже не скажу никому, что ты жаловался.

— Я не жалуюсь никогда.

— Вот именно, поэтому и надо, — сказал Эрик. — Человек, который не жалуется, копит. А накопившееся надо раз в год выгуливать. Приходи к девяти. Позже — будет толпа, и ты устанешь раньше, чем разморит.

— Разморит?

— Это важно для атмосферы. До девяти. И оденься как обычно, не надо из тебя архитектора в вечерней одежде делать.

Он положил трубку, не попрощавшись, — он и не прощался никогда, потому что был уверен, что всё сказал. Леон посмотрел на трубку, потом на ватман с оранжереей и подумал, что Эрик прав во всём, кроме термина «разморит»: разморит или нет, это было как раз тем, чего Леон не умел предсказать по бумаге. А то, чего не предсказать по бумаге, его всегда интересовало больше остального.

Пятница прошла тихо. Грубе принимал в архив новый ящик бумаг — снос дома на Кожевенной, — и весь день до вечера слышно было, как он аккуратно, по одной, перекладывает папки, будто переселяет жильцов. Хельм отослал заказчику эскизы и весь день был доволен

собой в той особой, невидимой форме, в которой это заметно только по тому, что он дважды принёс всем кофе. Нора чертила уточнение к погребу-тамбуру и в обед сказала Леону:

— Хельм сегодня почти поёт.

— Он не поёт.

— Он дважды принёс кофе. В переводе с хельмовского это «аллегро».

Дом был тих и неподвижен, город шёл своими кругами, и, если бы кто-нибудь снаружи заглянул в это бюро, он сказал бы: обычный день. И в этих двух словах — «обычный день» — была целая гармония, которую Леон умел слышать так же ясно, как слышат тиканье часов: не слушая, а просто не имея возможности не слышать.

В субботу днём они с Норой поехали на Мертенскую, к Брему. Особняк принял их приторным запахом старых цветов: где-то на верхних этажах сохли розы, и запах спускался по лестнице навстречу, как вода под гору. Нора мерила зал, Леон ходил по дому с рулеткой и блокнотом и в перерывах между цифрами смотрел на дом — так, как смотрят на человека, с которым предстоит работать год.

К пяти они закончили, и Брем, как обещал, был весь чайник. Он водил их по комнатам, рассказывал про тётю и про ключи от чемоданов и, наконец, привёл их к лестнице — той самой, под которой стояла запертая дверь.

— Ну что, — сказал он, — открываем?

Брем вынул из жилетного кармана ключ — простой, домашний, свежей латуни.

— Нашёл на неделе, в буфете, за посудой, — сказал он. — Видимо, лежал с тех пор, как дверь перестраивали. Замок на ней не родной — родной был с торца, как на старом плане, а этот ставили позже.

Леон вставил ключ. Замок повернулся с усилием, неохотно, как поворачивается чужой замок, которому дают не его ключ, — и дверь подалась внутрь, выпустив им навстречу ровную волну холодного воздуха. Пахло бумагой, ванилью и чем-то ещё — чем-то таким, чего Леон не мог назвать: не запахом, скорее памятью о запахе.

Брем щёлкнул выключателем — лампочка под потолком вспыхнула и осветила маленькую комнату, в которой не было ничего, кроме стола, стула и большого листа картона на стене. На картоне — фотографии. Десятки фотографий, аккуратно наклеенных, одно и то же: мост Старого Штейна, набережная, город в час окон. Одни и те же окна, одни и те же крыши, снятые много раз, в разные годы, при разном свете.

— Ну надо же, — тихо сказал Брем. — А я ведь думал, там пусто.

Леон подошёл ближе. На самой последней фотографии — той, что была наклеена последней и снята позже всех, судя по наклону солнца, — внизу, у перил моста, стоял человек. Он стоял спиной и смотрел на южный берег, и рядом с ним лежала корзина. У корзины сидела девочка.

Корзина была видна.

— Здесь девочка с корзиной, — сказал Леон, не оборачиваясь.

— Что? — сказал Брем. — Ах, это. Ну да, у него по всему городу эти снимки. Мост, набережная, всегда одно и то же. Знаете, что самое странное? Иногда мне кажется, что он снимал не мост, а что-то за мостом. Что-то, чего мы все не видим. Вот идут люди, смотрят на реку, — а он смотрит чуть мимо. Всю жизнь чуть мимо, — Брем повёл рукой вдоль картона, и тень его стекла по фотографиям. — Умный был человек, а чудил. Или чудил, потому что был умный. Одно другому не мешает.

Нора встала рядом с Леоном и молча смотрела на стену секунд десять, потом сказала:

— Знаешь, что странно? Все они сняты в один час. Я не уверена, но свет везде одинаковый. Как будто он приходил не в разное время, а в разное время, но в один и тот же час.

— Это и есть «в разное время», — сказал Брем.

— Нет, — сказала Нора спокойно. — Это разное.

Из подвала, с торца, тянуло холодом, и Леон вдруг поймал себя на том, что стоит спиной к картону и слушает — не звук, а его отсутствие. Дом за стеной жил: где-то потрескивали рамы, где-то шёл дождь по крыше, где-то скрипел стул Норы. А здесь, в маленькой комнате под лестницей, не было ничего. Ни звука. Комната была вырезана из дома, как кадр из плёнки, — и Леон не знал ещё, что именно в такие вырезанные кадры потом проваливаются люди.

Выходя, он закрыл за собой дверь, и замок снова сопротивлялся — не запираясь, а как будто засыпая обратно. Комната под лестницей осталась внутри дома, и дом остался снаружи на своём месте, и всё это было правильно — почти.

«Почти» Леон не заметил. Ещё не заметил.

Вечером он переоделся — как обычно, серые брюки и тёмная рубашка, — выпил кофе без сахара, чтобы не уснуть на вечеринке, и вышел. По дороге он думал, что, может, стоит вернуться пораньше: неделя была длинная, а ночь обещала быть такой, после которой не хочется вставать в 7:15. Но Эрик ждал, а Эрика не подводят — не из долга даже, из уважения к его вере в людей.

Город по дороге домой был смирный и сонный: где-то за домами прошёл трамвай номер три, дребезжа, как посуда в шкафу; на углу у фонаря стояли двое и разговаривали слишком тихо для такого лёгкого разговора; где-то хлопнул ставень — не Альтман, кто-то из соседних. Леон шёл и вполуха слушал ночь, как слушают чужой разговор в соседней комнате: приятно, успокаивающе и не своё.

Контора Эрика к девяти была полна света, и половина этого света была лишняя: лампочки по периметру, гирлянда над окном, чей-то фонарь на столе. Музыканты — не настоящие, но живые — настраивались в углу, и настройка звучала интереснее, чем обещала музыка. Эрик бросился к нему через всю комнату, как бросаются через реку.

— Вальга! — заорал он на всю студию. — Человек! Живой! Одет как всегда!

— Как просили, — сказал Леон.

— Так, знакомься. Это все хорошие, я проверял...

И Эрик повёл его через комнату, представляя, по очереди: Марта — не та Марта, другая, художница; Каспар, который ремонтирует всё, что не живёт; Лена с южного берега, которая смеялась в ответ на любое его слово раньше, чем он его договорил. Леон здоровался, кивал, спрашивал про дела, и было почти легко — тело помнило, как это делается, как помнит дорогу рука.

Позже, когда музыканты начали играть, Леон стоял у окна с бокалом, который не пил, и смотрел, как в отражении двигаются чужие силуэты. Эрик притиснулся к нему плечом, глядя в тот же отражённый зал.

— Ну что? — спросил он. — Разморило?

— Ещё нет, — сказал Леон.

— Значит, ждём, — сказал Эрик и убежал в толпу, как убегают в реку.

Леон остался у окна. Было тепло, шумно, светло; кто-то засмеялся в другом конце комнаты, кто-то стал раскладывать карты на полу, кто-то спорил про кино. В отражении за его спиной танцевали, говорили, махали руками, и все они были чуть плоскими, чуть тихими — так комнатные люди выглядят в зеркалах, если смотреть на них слишком долго: знакомые до мелочей и всё-таки не совсем те. Леон подумал о фотографиях в комнате Брема: тоже отражения, тоже люди спиной, тоже город, который не отводит взгляда. Он отогнал эту мысль — вечер был не для этого.

Ночь шла своим чередом — так, как шла всегда на вечеринках у Эрика: весело, немного слишком громко и ни на минуту не страшно.

Если бы кто-нибудь сказал ему сейчас, что эта ночь разделит его жизнь на «до» и «после», он бы, наверное, улыбнулся вежливо и попросил ещё кофе. В таких вещах никто не верит заранее. За окном Мистхольм лежал в тишине, весь в своих маленьких жёлтых окнах, — и

смотрел, как всегда, спокойно и ровно, как смотрит город, который пока не знает, что его уже начали открывать.

# Глава 3. Вечеринка

Музыка к одиннадцати стала настоящей — не потому, что музыканты были настоящие, а потому, что настройка кончилась, и аккордеон повёл мелодию, гитара подхватила, а контрабас пошёл внизу, как вода подо льдом: медленно, тяжело и с той единственной соскакивающей струной, из-за которой во всём звучании постоянно жила короткая нотка обиды. Играли они не для танцев — для того, чтобы люди могли говорить громче, и всем это подходило, потому что разговор был главным видом искусства на вечеринках Эрика, а музыка шла к разговору аккомпанементом.

Эрик вернулся с бутылкой тёмного стекла и двумя рюмками, от которых несло сливой.

— Сливовая, — объявил он торжественно. — Из Подвесья. Тётя гонит по рецепту своего деда, а рецепт, по её словам, старше города. Пей медленно: она не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы вечер стал длиннее.

— А если я хочу, чтобы вечер стал длиннее?

— Тем более медленно, — сказал Эрик и исчез в толпе.

Наливка была тёплая, густая, сладкая вначале и терпкая в конце — как конец лета, если бы его можно было пить. Леон стоял у окна и смотрел, как комната живёт сама с собой: Марта — художница, не та Марта, что приходила на позапрошлый вечер, — показывала кому-то маленькую записную книжку; Каспар стоял на стуле и прикручивал к потолку лампочку, которую кто-то зачем-то выкрутил; Лена с южного берега смеялась в дальнем углу, и по тому, как она смеялась, было слышно, что смеётся она над чем-то своим — над мыслью, которую никто ещё не успел произнести.

В комнате было тепло и вкусно пахло: воском от свечей на подоконнике, мокрой шерстью курток в прихожей, сливой и пирогом, который кто-то принёс и который уже кончился — остался один запах. Леон обнаружил, что снимает пиджак и вешает его на спинку стула, и что действие это произошло как-то само, без решения. Вечер размягчал его снаружи, как размачивают сухую губку.

— Вальга, — Эрик возник рядом, теперь уже с Леной. — Знакомься. Лена. Лена — это Вальга. Самая предсказуемая спина Мистхольма.

— Прекрасно, — сказала Лена. — Мне давно нужен предсказуемый. Все вокруг у нас предсказуемо непредсказуемые.

— Она всегда так говорит, — доверительно сообщил Эрик.

— Я всегда так говорю, — подтвердила Лена. — А ты как думаешь, Леон?

Она произнесла его имя так, будто была уверена, что имя ей понравится.

— Я думаю, что предсказуемость недооценивают, — сказал Леон. — На предсказуемом человеке можно строить планы. На непредсказуемом — только писать стихи.

— О-о, — сказала Лена с восторгом. — У нас есть архитектор, который строит планы. Наливай, Эрик. Я его изучу.

Эрик налил. Лена оказалась из тех людей, с которыми разговор шёл сам: она спрашивала не о том, чем ты занимаешься, а о том, как ты видишь. Почему старые дома держат воздух, а новые нет. Можно ли сделать мост красивым во второй раз, если в первый раз он уже был красивым. Правда ли, что архитекторы видят город голым — без вывесок и фасадов. Леон поймал себя на том, что рассказывает — охотно, долго, что было ему несвойственно, но шло легко, потому что Лена слушала, как слушают музыку: не перебивая, и было видно, что слышит.

— Вы знаете, что вы делаете с городом? — спросила она в какой-то момент.

— Что делаю?

— Вы его чините. Каспар чинит лампы и людей, Эрик чинит настроение, вы чините дома. А кто-нибудь чинит сам город? Не дома в нём — его?

— Город не ломается, — сказал Леон. — Он изнашивается. Это другое.

— А чем отличается?

— Ломается — когда на него давят. Изнашивается — когда им пользуются.

— О, — сказала Лена и порылась в сумочке. — Это надо записать. Мне все говорят, что нельзя жить записями, а я живу записями. Из записей выходит человек, а из памяти — только легенда.

Лена, узнав, что Леон живёт на северном берегу, немедленно объявила это диагнозом, а не фактом.

— Северянин, — сказала она с осуждением, в котором было много любви. — Вы, северные, ложитесь спать, когда мы только ужинаем. Я живу в Гавани, у самой воды, и от нас до вас — один мост, а по сути — сто лет.

— Сто лет в какую сторону?

— В сторону раннего сна, — сказала Лена. — Хотя не скажу, кому лучше. У вас окна на восток, и вы все просыпаетесь со светом. У нас окна на запад, и мы все засыпаем со светом. И то и другое выглядит как жизнь, в которой кто-то заранее о тебе позаботился.

— «Кто-то заранее о тебе позаботился», — сказал Эрик, вернувшийся с бутылкой. — Записать, Лена! Это надо в рамку.

— Уже записала, — сказала Лена и действительно записала.

Каспар слез со стула и понёс через комнату Марте маленькие настенные часы — круглые, с латунным ободком, потемневшим так, что латунь стала похожа на мёд, который кто-то забыл на столе.

— Марта, — сказал он с тем выражением, с каким переходят границу. — Я должен признание.

— Признание?

— Я починил твои часы.

Марта перестала улыбаться. Не рассердилась — перестала улыбаться, и это оказалось хуже.

— Когда?

— В среду. Они стояли у тебя на окне неделю, стрелки без хода, я не выдержал. Я чиню всё, что не живёт. Это не привычка — это диагноз. Тебе Эрик не рассказывал? Зря. У него все диагнозы по алфавиту.

— Ты не понял, — сказала Марта спокойно. — Я их не чинила нарочно.

— Как это — нарочно?

— Так. Они остановились в марте, и я оставила их остановленными. Пусть висят, как висят. Времени у меня в тот год было достаточно.

— Марта, — сказал Каспар, — они висели неправильно. Я мимо проходил — и у меня рука не поднималась. Это как если бы у моста сбоку висела табличка «сломан» — не потому, что сломан, а потому, что кто-то так решил.

— Это мои часы, — сказала Марта.

— Это мои руки, — сказал Каспар. — Считай, я их занял.

Они смотрели друг на друга секунды три, и по комнате — Леон заметил — уже начали поворачивать головы: вечериночные ссоры собирают зрителей быстрее, чем любые кулисы. Но Каспар сделал то, чего никто не ждал: он снял часы со стены, открыл заднюю крышку и остановил маятник пальцем.

— Вот, — сказал он. — Пусть молчат. Но молчат исправно. Чинить — не значит пускать ход.

Марта посмотрела на часы, потом на Каспара. Потом засмеялась — так смеются, когда гнев не нашёл, во что выстрелить.

— Ты невыносим, — сказала она. — Вешай обратно.

— Уже, — сказал Каспар и повесил.

Леон подумал, глядя на них, что примирение после мелкой ссоры — одна из самых тёплых вещей на свете: не потому, что всё хорошо, а потому, что в нём есть маленькое доказательство, что человек дороже, чем дело. Он сам не умел так — останавливать маятник пальцем, находить компромисс в полминуты, — но Эрик умел постоянно, и Нора умела, и, наверное, вся жизнь Мистхольма состояла из таких остановленных часов, которые молчат исправно.

К одиннадцати Эрик забрался на стул у окна и постучал по рюмке ложкой, потом по бокалу, потом снова по рюмке — стул оказался недостаточно высоким авторитетом.

— Так, — сказал он. — Слушайте все. Тост. Короткий, потому что наливка дорогая, а тёть в городе всего две.

Кто-то не замолчал сразу. Эрик выждал, и выжидание сработало лучше любого гонга: тишина наступила сама.

— За Леона Варгу, — сказал Эрик. — Человек восемь лет живёт в этом городе и не знает, что он нам всем нужен. Дома чертит. По мосту ходит всегда в одно и то же время. Кофе пьёт без сахара — то есть, я спрашиваю вас, ради чего мы вообще существуем? — он поднял рюмку. — За тех, кто вышел из кладки! Вальга, тебе положено ответить. Скажи что-нибудь короткое и невыносимо правильное.

— За кладку, — сказал Леон и выпил второй.

Смех пошёл по комнате тёплой волной, и внутри этой волны, под шуткой, было правдивое зерно — Эрик умел вшивать правду в шутки так аккуратно, что шов не виден. Леон чувствовал тепло — наливки или правды, он не разбирал, — и разбираться не хотел: в такие минуты разбираться не полагается.

Позже Марта с бокалом села рядом с ним на широкий подоконник. За стеклом был кусок ночной улицы: фонарь, угол дома, полоска моста Старого Штейна, по которой изредка проплывал поздний прохожий — быстрый, как рыбка в аквариуме.

— Эрик сказал, вы чертите дома от руки, — сказала она. — Значит, вы рисуете. И я рисую. Мы обязаны найти общий язык, иначе весь вечер будет считаться упущенным.

— Чем вы рисуете?

— Тушью. Дрожащей рукой. Но это детали. Я, между прочим, рисую окна.

— Окна?

— Окна. Не виды, не улицы, не людей. Окна, — Марта посмотрела на ночь за стеклом. — Все рисуют виды, а вид — это смотровая площадка: оттуда всё видно и ничего не слышно. А окно — это между. Окно делит свет на «до» и «после». Я нарисовала их, наверное, триста. И почти все — одно и то же.

— Одно и то же?

— Ну да. Одно окно. Нашла его лет пять назад — вот такое, — она показала пальцами прямоугольник в воздухе, с наклонённой верхней перекладиной. — И всё рисую его. Разное время, разный свет, разные занавески, а окно одно. Художница, которая триста раз рисует одно окно, — по всем правилам это либо Мастер, либо диагноз.

— И что говорят?

— Говорят: зрелая тема, — сказала Марта и хмыкнула. — А если честно: мне просто нравится. Я стою перед ним и думаю: вот, опять ты. Опять я. Опять свет.

Леон молчал, потому что внутри тихо откликнулось — комната под лестницей, десятки снимков одного моста. Про фотографа он не сказал. Просто подумал: правда, наверное, в том, что человек всю жизнь ищет одну точку, с которой мир имеет правильный вид. У фотографа эта точка была у моста. У Марты — за стеклом. У самого Леона — набережная в час окон. А у Эрика точек не было: у Эрика был весь город сразу, и в этом тоже был смысл — другой, но смысл.

— Хорошая тема, — сказал он вслух. — Одно окно.

— Приятно слышать от архитектора, — сказала Марта. — Архитектор — это человек, который делает окна большим тиражом.

Единственный настоящий спор вечера случился между Леной и Эриком — из-за пластинки. Когда музыканты взяли перерыв, Эрик поставил с юга запись, которую Лена объявила «музыкой для ожидания автобуса».

— Это моя вечеринка, — сказал Эрик.

— Это моя суббота, — сказала Лена. — Автобус у меня завтра в девять, а ты ставишь мне похороны солнца.

— Похороны солнца — это красиво.

— Это медленно. Красиво и медленно — разные вещи, а у тебя, Эрик, всегда с этим путаница.

Спор был легко решаем и оттого вёлся с удовольствием: Эрик предложил компромисс — половину вечера по правилам хозяина, половину по правилам гостей, — и Лена согласилась с условием, что в её половину войдут все разговоры о городе. Так и порешили. Никто потом не помнил, в какой половине вечер кончился, но музыка стала живее, и это было засчитано всем.

За полночь кто-то вынес на середину комнаты колоду, и вечер пошёл в новую фазу: расстелили плед, сели в круг — Эрик, Лена, Каспар, Марта и один человек, которого Леон в упор не помнил, хотя был уверен, что видел его полчаса назад. Игра называлась «мост» — Лена настояла на названии, потому что «в этом городе всё равно всё про мост».

— Правила простые, — сказала Лена. — Проигравший рассказывает историю. Остальные решают: правда или выдумка.

— Это не правила игры, — сказал Каспар. — Это правила допроса.

— В этом городе всё равно всё про мост, — повторила Лена невозмутимо и раздала.

Леон проиграл первым же кругом и, после короткой паузы, в которую вся компания вежливо впилась глазами, рассказал правду: как приехал в Мистхольм на два месяца, посмотреть, как здесь делают реставрацию, и как остался на восемь лет — и как однажды в первую зиму вышел в пять утра на набережную, в темноту, и стоял у парапета, и в половине седьмого фонари разом погасли — а небо ещё было тёмное, — и он стоял в темноте и вдруг понял, что город — это не дома. Город — это что-то, что умеет просыпаться и само решает, когда включать свет.

— Правда, — сказал Каспар.

— Правда, — сказала Марта. — Так врут только если выучили наизусть.

— Правда, — сказала Лена, — потому что слишком грустно, чтобы выдумывать. А всё слишком грустное — правда. Проигравший рассказывает ещё одну.

— В правилах этого нет.

— В правилах, в которых есть допрос, всё есть, — сказала Лена.

Проиграл следующий Эрик. Рассказал историю о том, как в школе за несделанный чертёж сдал учителю чертёж своей комнаты с подписью «вид изнутри», и учитель долго смотрел, потом поставил четвёрку — «за перспективу» — и Эрику до сих пор стыдно, что он не спросил, за что именно: за вид или за подпись.

— Правда? — спросил Леон.

— Правда, — сказал Эрик. — У меня и четвёрка осталась, в дневнике. Хочешь, покажу.

— Дневник за двадцать лет?

— Я храню все свои улики, — сказал Эрик с достоинством.

Потом проиграла Марта. Она подумала и рассказала, как однажды продала картину — окно, разумеется, — человеку, который повесил её в кладовке, потому что «в комнате нет места», и как она теперь каждый год звонит ему и спрашивает: а картина-то как? Не потемнела ли? Не тесно ли ей в кладовке?

— И что он отвечает? — спросил Лен.

— Что картине нормально, — сказала Марта. — Он думает, что я проверяю её сохранность. А я проверяю её счастье. Это разные вещи, но по телефону они звучат одинаково.

Все решили: правда. Каспар сказал, что за такую заботу о картинах надо давать медаль, а снимать её — у самого владельца, который повесил окно в кладовку.

Проиграл затем Каспар. Он недолго мучился и рассказал, как чинил будильник вдове с Гавани: тот звонил в пять утра, хотя хозяйка просила «к семи», — и как он, Каспар, оставил всё как есть. Потому что в доме вдовы, по его словам, с пятью утра уже ничего не происходило — и пусть хоть будильник живёт.

— Это правда? — спросил Леон.

— Это правда, что я так сказал вдове, — сказал Каспар честно. — А правда ли это по существу — решайте сами, вы же суд. Считается, что я проиграл?

— Считается, что ты выиграл, — сказала Марта. — Проиграть, рассказав такое, невозможно.

Около часа ночи Эрик налил Леону третий бокал — «последний, тётья норма» — и мир стал мягче по краям. Не размыт — именно мягче: звуки стали шире, свет теплее, слова шли сами, и Леон смеялся больше, чем смеялся за весь год, и знал об этом, и позволял. От наливки теплилась ладонь, которой он держал бокал; музыка стала объёмнее — он мог, закрыв глаза, сказать, где стоит контрабас, а где скрипнула половица; и когда Лена смеялась, он чувствовал её смех как погоду — мимолётную, хорошую, дождь с солнцем. Голова работала так же точно, как всегда, — только без обычного встречного ветра. Он был размягчён. Не пьян — размягчён: как дерево, которое хорошо просушили и наконец позволили быть тёплым.

Именно тогда он и заметил старика.

Тот стоял у окна — поодаль от музыки, с недопитым стаканом: серое пальто, седая голова. Он не смотрел на улицу. Он смотрел чуть мимо улицы — так, как смотрят сквозь стекло: город под окном был для него не пейзажем, а чем-то, что находится за городом, дальше. Леон смотрел на него секунд пять. Не из страха — из того любопытства, которое включалось у него на чужих чертежах, когда линия вела себя необъяснимо.

— Кто это? — спросил он у Каспара, наклонившись.

— Кто? — Каспар оглянулся. — А. С кем-то пришёл. Эрику сказал «спасибо за вечер» — что странно, потому что сказал он это, когда пришёл, а не когда уходит.

Леон хотел спросить ещё — и не успел: Лена потребовала вернуть карты, обвинив его в систематическом удержании тузов, и спор был объявлен делом государственной важности. Когда Леон снова посмотрел к окну — старик стоял на прежнем месте. А когда Леон освободился минут через десять — у окна стояла Марта и доказывала Лене, что дождь нельзя рисовать, не рисуя окон. Старика не было. Ни в прихожей, ни в комнате: Леон обвёл глазами углы и не нашёл его. Он решил, что тот вышел во время очередной волны смеха — через прихожую, как выходят все. Всё объяснимо. Хотя «всё объяснимо» — это ведь не объяснение, а только объявление о намерении не думать дальше.

— Ты куда смотришь? — спросила Лена.

— Так, — сказал Леон. — Окна изучаю.

— Хороший выбор, — одобрила Марта.

Музыканты к этому часу устали и потому заиграли лучше — так бывает: когда на эффекты не остаётся сил, остаётся только музыка. Они сыграли медленное, и комната сама разделилась: пары качнулись к окнам, картёжный круг сполз на пледе в сторону, кто-то уснул прямо в кресле — Каспар, который чинил всё, что не живёт, а теперь не жил сам, положив голову на плечо Марты, и Марта не двигалась, чтобы не разбудить, хотя рука у неё затекла.

Эрик сел рядом с Леоном на подоконник. Он был потный, довольный, с аккордеонной лямкой на плече — он подменял контрабасиста дважды за вечер и оба раза, по всеобщему свидетельству, спасал музыкальную часть программы.

— Ну? — спросил он.

— Хорошо, — сказал Леон.

— Повтори, я не расслышал.

— Хорошо, Эрик.

— Так, — Эрик покивал. — Это дорогого стоит. Ты сказал «хорошо» дважды за вечер. У нас так говорят о погоде и о невестах. Значит, вечер удался, и я звал не зря.

— Ты звал ради наливки.

— Я звал ради тебя. Наливка — совпадение, — сказал Эрик. — Ты, кстати, редко бываешь такой. Я имею в виду: сегодня ты не чертёж. Ты — человек, который чертил чертежи и наконец повесил карандаш.

— У меня карандаш всегда при себе.

— Вот именно, — сказал Эрик. — Потому я и зову тебя на эти безобразия. Чтобы у тебя был хотя бы один вечер без карандаша.

— Карандаш у меня в кармане.

— Вальга, — сказал Эрик с чувством, — ты неисправим. И за это мы тебя и держим.

Уходя, он наткнулся в прихожей на Лену: она искала вторую перчатку и находила только первую, и обе были, судя по всему, в единственном экземпляре, что её явно не устраивало.

— Леон, — сказала она, выпрямившись с одной перчаткой в руке. — Скажите мне как архитектор: мост — он вечером другой или тот же?

— Другой, — сказал Леон.

— А город?

— Город — тот же. Просто свет другой.

— Значит, дело в свете, — сказала Лена и нашла-таки вторую перчатку. — Всегда знала: если что-то не так — ищи свет. Запишу.

В половине второго Леон встал. Комната качнулась — мягко, как качается лодка, к которой подошёл человек: не опрокинулась, а качнулась и успокоилась. Он нашёл свой пиджак, попрощался с Мартой, разбудившей Каспара ради прощания, и с Леной, которая сказала ему на прощание «а ты как думаешь?» — и, по-видимому, это был не вопрос, а подпись, — и вышел с Эриком на лестничную клетку.

— Пешком? — спросил Эрик.

— Пешком. Проветрюсь.

— Молодец. И не падай в реку: она холодная даже летом.

— Я осторожный.

— Именно поэтому я и беспокоюсь, — сказал Эрик. — До субботы, Вальга. И имей в виду: ты сегодня смеялся. Я считал. В три раза больше обычного. Я всё считаю.

— Иди спать, — сказал Леон.

— Уже иду, — сказал Эрик и ушёл внутрь, притворив за собой дверь так мягко, как притворяют двери в счастливые дома.

Город ночью был другой — не пугающий, а просто непривычно пустой. Фонари стояли на своих местах и держали свои круги жёлтого света; в кругах медленно кружилась пыль, и было слышно, как где-то на южном берегу человек запирает лавку — ходит вдоль прилавков, щёлкает замками, и каждый звук отзывается эхом в пустой улице. Мост Старого Штейна Леон пересекал один: гранитные перила были тёплые от дневного солнца, и он положил на них ладонь — рука сделала это сама, без решения, как делает всё самое верное. Вода под арками была чёрная и несла на себе отражения — редкие теперь, потому что окна по ту сторону почти все погасли. Река уносила их на юг, медленно, по заведённому порядку.

У трамвайного депо, мимо которого дорога сворачивала к воде, спали вагоны: ряд за рядом, тёмные, со стёртыми за день окнами. Дежурный свет горел только над воротами, и под этим светом спал рыжий кот — рабочий кот депо, которого Леон знал в лицо, а кот его, судя

по равнодушию, нет. На южном берегу не шёл дым из труб: мастерские спали, и оттого южный берег, обычно гудящий, лежал теперь тихий, как карта самого себя. Где-то перекатывало по камню колесо — один раз, второй, и умолкло. Город ночью распоряжался звуками экономно: не отдавал их, а давал послушать и отбирал обратно.

Дома на обратной стороне сходились тесно, и небо над переулком было узкое, высокое и полное звёзд — в Мистхольме звёзды были старые, честные, и с ними никто не спорил. Мимо булочной Альтмана тянуло вчерашним хлебом: стёкла были тёмные, ставни опущены, но запах жил за ними своей ночной жизнью — дрожжевой, тёплый, упрямый. Пахло так, как пахнет из закрытой пекарни, — то есть хлебом, который уже готов, но никому ещё не достался; самый честный в городе запах: всё уже решено, а никто не знает.

Мимо склада за Старым Штейном он прошёл, как проходил всегда, — и на этот раз не обернулся. Не потому, что было страшно: потому что было не нужно. Проём складской двери стоял в глубине чёрный и тихий, как всегда; из него тянуло холодом и старой пылью; Леон ускорил шаг на полшага — из вежливости — и пошёл дальше. Мальчишеская легенда про того, кто не любит гостей, оставалась мальчишеской легендой, и её никто не потревожил. Пока — никто.

На набережной стояли на приколе две баржи. Томаса не было — ночью парапет пустовал, и голуби на нём не спали так заметно, как спал бы Томас. Окна за спиной Леона светились уже только в трёх-четырёх местах: мансарда — да, мансарда горела, и Леон вспомнил: среда и суббота. Сегодня уже была суббота, значит, всё правильно; он даже немного порадовался, что в голове, размягчённой наливкой, ещё живут расписания, — и пошёл дальше, и его собственное окно ждало его наверху, тёмное и ровное.

Дом встретил его запахом воска и сырого камня. Ключ повернулся привычным усилием, лестница отозвалась скрипом на третьей ступеньке — всегда на третьей, — дверь Хальперн была тёмной: щели под ней не было, света не сочилось, спала. На кухне Леон выпил два стакана воды, а потом, не решаясь на большее, съел кусок яблочного пирога — стоя, в темноте, отрезав его прямо в холодильнике. Пирог был сладкий, как и всегда, и горячим с нижнего левого бока он уже не был — он был просто пирог, холодный и правильный, как всё в этом доме.

Ложась, он думал, что уснёт мгновенно.

Он не уснул.

Тело было тяжёлое, тёплое, ватное — тело хотело спать и требовало спать. Голова — нет. Голова лежала на подушке, как отдельное существо, которое смотрит в потолок и перебирает: Марта и её одно окно. Часы Каспара, остановленные исправно. Лена и её «а ты как думаешь». Старик в сером пальто, смотревший мимо города. Фонари, погасшие разом в первую зиму. Мост. Комната под лестницей. Он перебирал всё это не как задачи — как чётки, без цели: руки головы ходили по бусинам, и бусины были тёплые.

Потом он лежал и слушал дом. Дом ночью разговаривал — Леон знал его ночной словарь наизусть: труба отдаёт короткий вздох, когда наверху закрывают дверь; батарея щёлкает дважды, остывая; в прихожей скрипит доска — не от ветра, а оттого, что дом помнит, как по ней ходят, и старается. Всё это обычно сливалось в один фон, который Леон не слышал, — как не слышат своего дыхания. Сегодня фон был слышен отдельно, звук за звуком, и оттого казалось, что дом не спит, а лежит и слушает вместе с ним.

Он подумал, что завтра — то есть уже сегодня, суббота, — надо будет позвонить родителям: воскресенье, по их договору, начиналось для него с субботнего вечера, потому что в воскресенье утром они всегда были в саду. Скоро ли приедешь, сынок. Приеду, мама. Обязательно. Он подумал это — и подумал, что сказал «обязательно» восемь лет подряд и восемь лет подряд это была правда, потому что «обязательно» не значило «скоро».

Потом он подумал о Бреме и о ключах от чемоданов, о том, что у человека могут быть вещи, которых он никогда не откроет, — и что это, в сущности, честно: не все двери обязаны быть открыты. О некоторых достаточно помнить, что они есть.

Он ещё подумал — мельком, как думают в темноте, — что во всём этом вечере было что-то, что он забыл. Не событие — штрих: как когда забываешь, было ли на столе яблоко, а потом всю ночь помнишь, что нужно было бы яблоко. Он перебрал вечер ещё раз: музыка, наливка, часы, карты, старик... Старик. Он снова увидел серое пальто и взгляд чуть мимо, и на этот раз — сам не зная почему — подумал не «кто это», а «что это». Слова были глупые, и Леон тут же их отменил: уставший человек путает «кто» и «что», это законно.

Около двух, когда он всё ещё не спал, в доме стало очень тихо. Тихо так, как бывает не каждую ночь: ровная, полная тишина, без единого звука — ни воды в трубах, ни осадки рам, ни шагов на улице. Леон лежал и слушал эту тишину, и где-то на краю сознания шевельнулась мысль — простая и неприятная: так тихо было в маленькой комнате под лестницей, где стояли фотографии. Комната без звука. Кадр, вырезанный из дома.

Он поймал мысль, посмотрел на неё и отложил: от усталости, сказал он себе. Ночью всё звучит громче, включая мысли.

Он повернулся на бок, посмотрел на часы: без четверти три. Дал себе условие — простое, честное, как условие в чертеже: если к трём не усну, встану и пройдусь. Пешком, немного, до моста и обратно. От бессонницы это не лечит никогда, но после всегда легче.

Без четверти три он лежал и смотрел в потолок.

В три часа ровно он встал, нашёл в темноте брюки и куртку и начал одеваться — тихо, чтобы не разбудить дом, который спал вокруг него своими тёплыми, правильными, беззвучными снами.

# Глава 4. Крик

В три часа ночи Леон Варга закрыл за собой дверь, придерживая язычок замка, чтобы щёлкнул потише, — дом спал, и уважение к спящему дому было в Мистхольме вежливостью, как снятие шляпы. Лестница приняла его мягко: третья ступенька скрипнула ровно там, где всегда, — и на секунду ему стало легко, почти весело, потому что даже бессонница в этом доме шла по правилам: сначала нельзя уснуть, потом можно выйти.

На улице стояла та особая тишина, которая приходит между тремя и четырьмя: не тишина сна — тишина между снами. Фонарь на углу держал свой круг жёлтого света, и в круге медленно кружилась пыль, невидимая днём и нарочитая ночью, будто город нарочно показывал: смотрите, даже пыль не спит. Леон постоял на крыльце, глядя на узкую полоску неба между крышами, и чувствовал, как холод делает своё тихое дело: наливка отходила слоями — сначала ушла теплота из ладоней, потом выправились звуки, потом вернулся обыкновенный, дневной Леон, только очень поздний и ни к чему не обязанный.

«До моста и обратно, — сказал он себе. — Тридцать минут, не больше. Потом постель».

Он спустился по Ремесленной — привычный маршрут, повёрнутый наоборот: утром он шёл им на работу, теперь шёл к реке. Город ночью не был похож сам на себя, и в этом не было ничего тревожного — так звучит знакомая пластинка в чужой комнате: те же ноты, но другой воздух. Асфальт держал прохладу вечера и отдавал её подошвам; в окнах не горело ни одного света, и оттого все они, тёмные прямоугольники один над другим, выглядели как фотографии города, вывешенные на просвет. Леон знал эти окна наизусть — знал, в котором часовщик оставляет на ночь чайник, в котором семья перекладывает простыни, в котором мансарда горит по средам и субботам, — и сейчас знание работало, как работает знание чертежа: всё было на месте, просто проявлялось иначе.

У булочной Альтмана тянуло вчерашним хлебом. Стёкла были тёмные, ставни опущены, но запах жил за ними своей ночной жизнью — дрожжевой, тёплый, упрямый, — и Леон, проходя, подумал, что это самый честный запах в городе: хлеб уже готов, а никому ещё не достался. Всё уже решено — а никто не знает.

Он поймал себя и на другом — на том, что думает о вечере с благодарностью, как думают о подарке: Эрик считал его смех и радовался, Марта рассказывала про окно, Лена записывала в книжечку. Он смеялся сегодня в три раза больше обычного — Эрик посчитал и не соврал бы; Эрик вообще не умел врать в счёте, только в мотивах. И где-то между счётом и мотивом Леон подумал, что завтра — то есть уже сегодня — надо позвонить родителям. Воскресенье начиналось для него с субботнего вечера, потому что утром они всегда были в саду. Скоро ли приедешь, сынок. Приеду, мама. Обязательно. Он сказал «обязательно» восемь лет подряд, и восемь лет подряд это была правда, потому что «обязательно» не значило «скоро». Он поймал себя на том, что думает странно, связно и ни к чему, — так думают, когда усталость и наливка встречаются посреди ночи и спорят, кто кого уложит спать.

Во дворе с побитым фонтаном было тихо: воду перекрыли на ночь, чаша стояла сухая, как ракушка на пляже. Леон прошёл через двор, кивнул в темноту дедовой тележке, — деда не было, но кивнуть стоило, потому что тележка была на месте, — и вышел в Ковочный переулок. Здесь дома сходились так тесно, что кроны смыкались над головой даже ночью, и небо над переулком лежало узкой полосой, усыпанной старыми, честными звёздами, с которыми никто в Мистхольме не спорил. Старый почтовый ящик стоял на своём покосившемся месте — его никто не чинил двадцать лет, потому что все привыкли, и он держался, как держится многое в этом городе: на привычке.

Потом переулок вырвался на набережную, и Леон вышел к реке.

Мертена ночью была чёрная и медленная. На южном берегу не шёл дым из труб — мастерские спали, — и южный берег, обычно гудящий, лежал тихий, как карта самого себя: все крыши на местах, все огни погашены, и только в доках, у самой воды, горел один-единственный жёлтый фонарь, зачем-то не нужный никому. У причалов стояли на приколе две баржи, и вода перекатывала свет фонарей с борта на борт, и казалось, что баржи дышат. Парапет Томаса пустовал: ночью голуби не спали так заметно, как спал бы Томас.

Леон дошёл до начала моста Старого Штейна, положил руку на гранитные перила — тёплые от вчерашнего солнца, — и постоял. Вода под арками несла на себе отражения — редкие теперь, потому что окна по ту сторону почти все погасли. Река уносила их на юг, медленно, по заведённому порядку, и в этом медленном уносе было что-то такое, от чего хорошо думается и ничего не надо решать. Леон стоял минут десять. Плечи опустились. Усталость, которая не давала уснуть, начала сдавать — потому что усталость боится открытого воздуха больше, чем закрытой постели.

Стоя у перил, он вспомнил вечер — не весь, а отрывками, как вспоминают уже начавшийся сон: музыку, которая к одиннадцати стала настоящей; Лену с её перчатками и «а ты как думаешь»; Марта и её одно окно, триста раз нарисованное. Эрик кричал «человек живой» так, как кричат на вокзалах при встрече. Всё это было тёплое и уже далёкое, как лето, которое кончилось не в сентябре, а сегодня, в три часа ночи.

И ещё было одно воспоминание — не тёплое. Старик в сером пальто.

Леон вспомнил его так, как вспоминают слово, которое вертится на языке: он стоял у окна, поодаль от музыки, с недопитым стаканом, и смотрел чуть мимо города — сквозь стекло, как смотрят на то, что за стеклом и дальше. Каспар сказал, что он с кем-то пришёл. А потом его не было — ни в комнате, ни в прихожей, и это прошло так буднично, что заметил один Леон.

Сейчас, стоя у воды, Леон подумал, что «чуть мимо» — знакомо. Так же говорили про фотографа из сороковых, чьи снимки висели под лестницей у Брема: идут люди, смотрят на реку, — а он смотрит чуть мимо. Всю жизнь чуть мимо. Леон не сделал из этого вывода — выводов не было, было только ощущение, что две эти вещи, серое пальто у окна и стёртые снимки под лестницей, стоят в разных комнатах его жизни и смотрят в одну сторону.

«Обратно», — сказал он себе и повернул.

И на полдороге назад, у поворота к набережной, там, где переулок делал колено между каменной кладкой и глухими задами, Леон услышал крик.

Это не был пьяный смех, не был окрик из окна, не был даже звук ночной ссоры — то, к чему ночные улицы приучают с первого года. Это был сдавленный крик: короткий, оборванный на середине, как будто человек крикнул не по своей воле и тут же зажал себе рот. Или как будто рот зажали другие. Голос был тонкий и в то же время глухой — в нём не было ни возраста, ни пола, а была только одна сжатая, задушенная нота, — и после неё наступила тишина, из которой уже ничего не следовало.

Леон остановился.

Первое, что сделал его ум, — попытался отнести звук к привычным категориям, как относят к строкам расходной книги: перетаскивали мебель; играл ребёнок, которого унесли; шумел ветер в трубах; уронили что-то тяжёлое. Ни одна строка не сходилась. Он стоял и слушал, и переулок перед ним лежал тёмный, как погасшая сцена, и в этой темноте можно было шуметь сколько угодно — никто бы не услышал.

— Эй? — негромко позвал Леон.

Голос вышел неожиданно маленький. Тишина не ответила — и от её невежливости, оттого, что она даже не сделала вида, что не расслышала, по спине прошло холодом.

И тогда включился второй ум — тот, который Леон считал своей слабостью и которым втайне гордился: ум, который не хотел отпускать. «Крик был человеческий, — сказал он себе. — Человеческий крик означает человека. Человек, который кричит так, в три часа ночи в

пустом переулке, либо упал, либо ему плохо, либо его держат. Если он лежит со сломанной ногой, каждая минута — его минута. Если его держат — тем более».

Но прежде чем доводы встали, Леон успел подумать о другом — и это было первым из странного этой ночи.

«Если увидите дверь, которая не там, где должна, — не обязательно её открывать. Но запомнить надо».

Слова госпожи Хальперн. Те самые слова, которых она не говорила, — Леон был готов поспорить на что угодно, что не говорила, — и которые теперь стояли в голове так ясно, как будто она стояла за плечом, в халате, с пирогом на ладонях, и говорила их не про лестничную клетку, а про этот самый переулок, про этот самый час. Откуда слова — он не понимал. Он знал только, что они правильные, как бывает правильной строчка чужого письма, которую ты не писал, а она всё равно твоя.

И ещё было одно — комната под лестницей у Брема. Тишина в ней, из которой не было слышно живого дома. Десятки снимков одного и того же моста в один и тот же час. «Либо очень любишь место, либо чего-то от него ждёшь», — сказал тогда Грубе, и Леон согласился, не подумав как следует. Теперь, стоя в переулке перед тёмным проёмом, он вдруг подумал, что фотограф ждал не любви. Фотограф ждал повторения. Мост, набережная, один и тот же свет — снимок за снимком — это ведь и была проверка: он снимал не вид, он сверял часы.

Против этого стояли три спокойных довода. Первый: это не его дело, и в городе, где все всё знают, в это «не его дело» давно записано всё, что не считается приключением. Второй: он устал, у него нет ни фонаря, ни свистка, ни, тем более, права на героизм — у него есть тридцать шесть минут маршрута и желание спать. Третий, самый честный, Леон признал его сразу, без суда: было страшно. Не так, как страшат сказки, а просто, по-детски: тёмный переулок в три часа ночи, и оттуда крикнули.

Доводы стояли и молчали. А любопытство и чувство ответственности — они не спорили, они просто уже шли.

Леон повернул в переулок.

Переулок был узкий, высокий, с каменной кладкой по обеим сторонам; в дальнем его конце, у самой набережной, стоял старый кирпичный склад — тот самый, мимо которого Леон проходил ежедневно и которому мальчишки приписывали жильца, не любящего гостей. Леон шёл медленно, вглядываясь в тени у стен: там, где складывались от фонарей синие прямоугольники, мог лежать человек — и не лежал. Ни одежды, ни брошенной сумки, ни капли крови на камне — ничего. Только запах, резкий и неуместный: машинное масло, смешанное с мокрой шерстью, — как будто в переулке что-то смазывали. Леон не мог вспомнить, когда он в последний раз чувствовал этот запах в Мистхольме, — и вместе с тем запах был не чужой, а знакомый до дрожи, как запах из сна, который забыл.

— Эй! — позвал он уже громче. — Есть кто?

Ответа не было. Вода далеко за стенами несла свои звуки — то поднимала их, то убирала, как гребень. И тогда Леон увидел то, чего не было меньше часа назад, когда он проходил мимо склада по дороге к реке.

В чёрном проёме складской двери горел свет.

Дверь была приоткрыта на ширину ладони, и сквозь щель шло ровное жёлтое свечение — не от фонаря снаружи, а изнутри, из глубины. Свет лежал на первых ступенях лестницы — той, что стояла глубоко внутри, на отлёте от двери, —, дальше темнота съедала его, и от этого казалось, что лестница уходит в свет, как в воду, и не кончается.

Мальчишеская легенда вспомнилась сама, без приглашения: кто-то из дворовых — уже не помнить, кто, — рассказывал, что в этом складе внизу живёт кто-то, кто не любит гостей, и что раз летом туда залезли трое, и вышли двое, и третий вышел тоже, только его больше никто не видел, потому что он, говорят, уехал к тётке в Пежмы. Так объясняют исчезновения

в городах, где не принято объяснять: уехал к тётке. Леон тогда, в первый же год после приезда, посмеялся вместе со всеми и забыл. Теперь легенда стояла в переулке рядом с ним — не смешная, а служебная, как табличка на двери: «посторонним вход воспрещён». Таблички вешают не для того, чтобы пугать. Их вешают для того, чтобы что-то охранять. Всё остальное — стены, свод, перила — оставалось таким же, каким было всегда; изменился только свет. Он не мигал, не дрожал, не отражался от чего-то постороннего. Он просто был.

Леон стоял у проёма и говорил себе очень здравые вещи. Свет могли оставить и час назад: кто-то спустился за инструментом и забыл выключить. Крик мог быть из соседнего двора — звуки в переулках ходят странно, отражаются от стен и приходят не оттуда, откуда ждёшь. Крик мог быть и вовсе не отсюда: какая-нибудь компания с южного берега, чей шум понесла река.

И здравые вещи кончались. Потому что склад был пустым. Леон знал это так же точно, как знал свой дом: восемь лет он проходил мимо каждый день, дверь склада стояла заколоченной снаружи ещё с прошлой мэрии, внутри не было ни стеллажей, ни сторожа, ни лампы, до которой дотянуться рукой, — лампы там не было вовсе. Свет, который горел теперь в её глубине, нечему было гореть.

И ещё: досок, которыми дверь была заколочена, больше не было. В дереве остались тёмные точки шляпок. Снять их можно было только со складской стороны — или снаружи, но так давно и так тихо, что он не заметил. Это была уже не заколоченная дверь. Это была дверь, которой пользуются.

Он положил ладонь на дверь. Дерево было тёплое — не как нагретый солнцем подоконник, а как рука: ровно, живо. Он открыл её дальше и вошёл.

Холод принял его сразу, как принимает чужой дом, где давно никто не живёт: полным объёмом воздуха, который копился и ждал. Пахло пылью, маслом и ржавчиной — складским набором, правильным до последнего компонента, — и под всем этим, тонко, как нота под аккордом, шёл запах нагретой пыли на лампочке: тот самый, который издают все включённые лампы мира. Значит, внизу горела лампа. Значит, внизу кто-то был.

И первым, что Леон увидел внутри, была лестница.

Не уличный проём, не крыльцо, не вход из переулка — лестница внутри самого склада. Просторное помещение раскрылось вокруг него: кирпичные стены, уходящие в высоту, балки под потолком, ровный слой пыли на полу — ни следов, ни ящиков, нистеллажей. И посреди этого пустого объёма, от самого пола, вниз уходила лестница: бетонные ступени, стёртые посередине до гладкости, перила из старой ковки, тёплые на вид и холодные на ощупь, как всё железо в этом городе. Внизу, глубоко, лежал свет — тот самый, что он видел из переулка.

А над лестницей, там, где она должна была продолжаться вверх, темноту перекрывала кладка: грубый кирпич, положенный наискось, без раствора, как будто кто-то однажды сказал «хватит» и больше сюда не поднимался. Тупик. Наверх не уйти — только вниз.

«Просто посмотрю, — сказал Леон. — Свет. Лампа. Сойду и уйду».

Это не было героическим решением. Это было решение человека, который спускается в погреб за солёными огурцами, и одновременно — решение человека, который не может не посмотреть. Он держался за перила и не боялся, насколько мог судить: страх стоял где-то в ногах и поднимался по ним вверх, но пока не доходил до головы.

Он начал спускаться.

Ступени были бетонные, стёртые посередине до гладкости, и он считал их автоматически, как считал всегда, когда спускался в неизвестное: не из педантизма — из устройства ума, который на каждое неизвестное заводил счёт. Двадцать четыре ступени, поворот на площадке, потом ещё двенадцать. Тридцать шесть. Он ступал ровно, почти не слыша себя, — и слышал всё остальное: как вода за стенами дышит в такт его шагам, как пыль оседает на перилах под ладонью, как внизу свет лежит терпеливо и никуда не торопится.

На середине марша Леон замер.

Наверху, там, где он вошёл, что-то сдвинулось: тень прошла по проёму — короткая, поперечная, как проходит по проёму человек. Или это было облако перед фонарём? Неба не было: свод, кирпич, темнота. Леон стоял, не поднимая головы, и слушал. Шагов не было. Воздуха — не было. Только вода за стенами продолжала своё, равнодушное.

Он сосчитал до десяти. На восьмом у него дёрнулась рука, чтобы обернуться, и он запретил ей. С неизвестным не оборачиваются спиной к свету: он знал это из старых инженерных историй про шахты и колодцы, не знал откуда на самом деле — знал. На десяти он сделал последний поворот и вышел на нижнюю площадку, и наверху уже ничего не было, и никто не спустился следом, и Леон позволил себе подумать, что, может, это и было облако.

На нижней площадке горела лампа под потолком — в чёрном железном конусе, дававшем ровный круг света. Свет лежал на ступенях, на полу, на двери.

Дверь была с облупившейся краской.

Краска на ней была тёмно-зелёная, облупившаяся до голого дерева — по краю, по панели, по нижней перекладине, — и номер 98 был выведен жёлтой эмалью, той самой стойкой, которой пишут номера на бортах судов: крупные, спокойные цифры, видные и в темноте. Дверь была обыкновенная — такая же, как в подъездах, как в подвалах, как в тысячах городов, — и в то же время она стояла здесь, в пустом складе, за тридцатью шестью ступенями от улицы, как будто её поставили не для людей, а для чего-то другого.

Дверь он осмотрел, как осматривал старые дома: быстро и в порядке, заведённом в бюро. Петли — снаружи, значит, открывается наружу, к тому, кто стоит перед ней, — так делают двери, которыми пользуются чаще, чем показывают. Замка не было. Краска облупилась не от старости: старость сыплется равномерно, а здесь шелушился край, у самого борта, там, где держатся пальцами, когда тянут. Эту дверь открывали часто. Много раз. Годами.

И ещё он заметил то, чего не мог не заметить, потому что это было его ремеслом: номер был выведен эмалью на высоте глаз — ровно, уверенно, одной рукой, без подновлений. Кто-то писал его, стоя перед этой дверью так же, как стоял Леон, — и писал не для того, чтобы обозначить. Для того, чтобы прочесть.

Он открыл дверь.

За ней был коридор — метра два, не больше: кирпичные стены, бетонный пол, голая лампочка под потолком, дававшая тот же ровный жёлтый свет. В конце коридора стояла вторая дверь — тёмно-зелёная, облупившаяся, с жёлтым номером 98, выведенным той же судовой эмалью. Это был коридор, построенный не для того, чтобы в нём жить, а для того, чтобы через него пройти, — и всё в нём было сделано руками человека, который умел строить и не умел или не хотел объяснять, что строит.

Леон переступил порог. За спиной, тихо, без единого скрипа, закрылась дверь 98: он не услышал удара — он услышал, как кончился сквозняк.

Коридор был короткий, но Леон обернулся — посмотреть на дверь, из которой вышел. Дверь стояла за его спиной закрытая, обыкновенная, с тем же облупившимся краем у борта, но с этой со стороны коридора был номер 99. Впереди, в двух шагах, ждала дверь 98. Между ними не было ничего: две двери, два метра кирпича, одна лампочка. Как тамбур между двумя мирами — если бы тамбуры строили без окон и не объясняли, зачем.

Он открыл дверь 98.

За ней была лестница — вниз.

Не подвал, не помещение, не то, что Леон рассчитывал найти за дверью с номером, — лестница. Те же бетонные ступени, стёртые посередине до гладкости. Те же перила из старой ковки, тёплые на вид и холодные на ощупь. Леон узнал их раньше, чем успел понять, — узнал так, как узнают своё окно в тёмном подъезде: не разглядывая, а по руке, которая уже легла на перила.

Лестница стояла посреди помещения, с тем же отступом от стен, что и в первом складе. Всё совпадало до миллиметра — и в этом совпадении было что-то более странное, чем в любой разнице.

«Просто посмотрю, — сказал он, и голос его в тишине прозвучал маленьким и чужим. — Сойду и уйду».

Он начал спускаться.

Ступени были бетонные, стёртые посередине до гладкости. Двадцать четыре ступени, поворот на площадке, потом ещё двенадцать — счёт шёл сам, как шёл всегда, — и на середине марша картина сложилась раньше, чем Леон успел её назвать.

Он спускался в точно таком же складе.

Стены вокруг него разошлись в высоту — кирпичные, с балками под потолком; под ногами лежал ровный слой пыли, без следов; внизу, глубоко, ждал свет. Он не входил в этот склад через дверь на его уровне — он уже был в нём, спускался с самого верха, как спускался минуту назад в первом складе. Лестница, по которой он шёл, была та же самая — не похожая, а та же самая: тот же след посередине, тот же скол на седьмой ступени, та же неровность бетона на девятнадцатой. Между одной ступенью и следующей не было перехода, не было порога, не было даже толчка, как бывает при смене вагона. Он шёл по лестнице за дверью 98 — и шёл по лестнице внутри склада, и это была одна и та же лестница, и склад вокруг неё был точно такой же, как тот, в который он вошёл с улицы.

Леон дошёл до нижней площадки. Здесь горела лампа — такой же чёрный конус, такой же ровный круг света на ступенях и полу. И перед ним, на площадке, стояла дверь — в том самом месте, где в первом складе стояла дверь 98. Краска та же, тёмно-зелёная, облупившаяся до голого дерева. Эмаль та же, жёлтая, судовая. Номер был другой.

97.

Леон постоял. Потом посмотрел наверх, откуда пришёл: лестница поднималась к площадке, а на площадке, в глубине тьмы, была дверь 98 — та, через которую он вошёл. Дверь сверху и дверь снизу — с одним номером, как две страницы одной книги, вложенные друг в друга. Он не стал искать этому названия — названия появлялись сами, и он уже начал им доверять меньше, чем счёту. Счёт был простой: склад. Лестница вниз. Дверь. Коридор. Дверь на единицу меньше. Лестница вниз. Склад — точно такой же. Ступенька за ступенькой.

«Слой», — сказал Леон вслух, непонятно зачем.

Слово вышло само, из ниоткуда — не потому, что он его придумал, а потому, что оно почему-то было готово. Он попробовал повторить и не смог понять, что оно значило: не геологический слой, не слой краски, не слой истёршейся штукатурки, которую снимают при реставрации, находя под ней предыдущий цвет. Хотя последнее было ближе всего: под каждым домом Мистхольма — другой дом. Под каждой штукатуркой — цвет. Под каждым городом — город.

Он открыл дверь 97 — нижнюю, ту, что ждала его на площадке.

За ней был коридор — метра два, не больше: кирпичные стены, бетонный пол, голая лампочка под потолком, дававшая тот же ровный жёлтый свет. Всё было как в первом коридоре — до последней трещины в известке, до последнего пятна на полу, и от этого сходства по спине прошло холодом: сходство было не похожестью, а повторением. И как в первом коридоре, позади него стояла дверь — та, через которую он вошёл, с номером 98, — а впереди, в двух шагах, ждала дверь с номером 97.

Леон стоял посреди коридора и смотрел на неё. Не открывал — не потому, что боялся, а потому, что понимал: за ней будет склад, точно такой же, а за его лестницей внизу — дверь 96, и коридор, и 95, и так дальше, вниз, слой за слоем, как ступенька за ступенькой, и где-то там, глубоко, числа кончатся — или не кончатся, и это было хуже. «Просто посмотрю», — сказал он себе в третий раз за ночь, и в третий раз это было правдой: он посмотрел. Он видел достаточно, чтобы знать порядок, и недостаточно, чтобы сойти с ума от полного счёта.

Он закрыл дверь 97 — ту, за которой лежал коридор и ждала 97, — и пошёл наверх.

Как он шёл наверх, он потом не вспомнил бы и под присягой. Ступени были те же, счёт был тот же, тридцать шесть, — и на каком-то из них, между одним шагом и следующим, он перестал считать, а когда снова начал — он уже стоял на уровне пола, посреди склада, и перед ним, метрах в трёх, была приоткрыта уличная дверь, и за ней стояла ночь. За спиной, у самой лестницы, темнела дверь — та, через которую он вошёл, — но он не оборачивался к ней: улица была впереди, ночь была впереди, и ночь была та же самая, что он оставил: набережная, вода, мост Старого Штейна, огни южного берега.

Он не подумал о том, что для того, чтобы вернуться наверх, надо было идти через коридор, через дверь с номером 99 и подниматься по лестнице первого склада, — того, к которому вёл переулок. Он не подумал, потому что не пришёл в себя: наливка ещё держала его за затылок мягкой тёплой ладонью, и дорога домой казалась продолжением дороги сюда, а не отдельной дорогой. Улица была за дверью — значит, дверь была выход. Всё просто, как таблица умножения, и так же непроверяемо в три часа ночи.

Он вышел.

Л

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.